

*И. С. Катченкова,  
учитель истории средней школы № 17 Василеостровского района Санкт-Петербурга\**

## БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ

### *Непрофильная кафедра*

Вообще-то наш курс (1980–1985) курировала кафедра истории СССР. Но меня всегда тянуло на кафедру всеобщей истории. Конечно, это было бесперспективно (если задуматься о грядущих гипотетических занятиях), зато так интересно!

На старших курсах я часто сидела за «андреевским» столом в одной из двух смежных комнат, носивших гордое название «Кафедра всеобщей истории». Я занималась с «Греческим альбомом» — так назывался учебник древнегреческого языка, который В. Н. Андреев «сконструировал», сделав фотокопии старого гимназического дореволюционного пособия. Преподаватели кафедры меня привлекали. Помню, Светлана Ефремовна Крылова советовала и латынью заняться — взять «Записки о Галльской войне» Цезаря, словарь — и вперед...

Впрочем, это уже другая история.

«Всеобщники» были более свободны, более раскованы, более открыты новому в науке и жизни, чем их коллеги с других кафедр. Напомню, что на дворе стояли 80-е гг. XX в. — эпоха противоречивая и, как позже оказалось, переходная. Насколько мы осознавали это — не знаю, не помню, и говорить здесь могу только за себя. Ведь как сказал недавно Алексей Герман-младший, «у каждого своя современность». Мне же наш институт казался тогда чем-то вроде Кембриджа, даром, что там не была никогда, а наше античное СНО виделось истинным студенческим братством (где, к слову, я была единственной «сестрой»). Кафедра же всеобщей истории казалась мне средоточием земной мудрости, нечто таинственное и нездешнее витало в ее тесных комнатках... ну и главное — преподаватели. Они были и советские люди, и в то же время — не вполне. Во всяком случае, они не очень-то вписывались в окружающую нас действительность (думаю, и сейчас не вписались бы).

У большинства из них трудно складывалась научная судьба. Не смогли защитить докторские диссертации В. Н. Андреев, Ю. П. Малинин. По слухам, за какие-то прегрешения был «сослан» к нам с дипломатической работы востоковед Ю. К. Барсков. Трудно было напечататься, сокращались лекционные часы, дипломы по всеобщей истории студенты защищать не могли, а потому студенты, перспективные в научном плане, шли на другие кафедры.

Кафедра была многопрофильная. За Древний мир «отвечал» доц. В. Н. Андреев. Медиевистов было двое — доц. С. Е. Крылова и доц. Ю. П. Малинин. Центральное место в штате кафедры занимали новисты — проф. Г. Р. Левин, проф. Ю. В. Егоров, проф. Е. А. Андреевская, ст. преп. В. Н. Борисенко, доц. В. М. Монахов. Были и восточники — доц. Ю. К. Барсков, асс. М. И. Шевчук. Возглавлял кафедру автор многих учебников по новейшей истории проф. В. К. Фураев.

Многих из них уже нет в живых, но благодарная память о моих учителях живет в моем сердце. Поэтому мне хочется, чтобы новое поколение герценовцев-историков узнало об этих замечательных людях.

### ***Старейшина кафедры — Генрих Рувимович Левин***

Это была колоритнейшая личность! В 1982 г., когда мы с ним встретились на III курсе (он читал «Раннее Новое время»), ему было уже под 70. Плотного телосложения, небольшого роста, огромная голова, лысина, очки, смахивал он на тогдашнего премьера Израиля Менахема Бегина. Но он был бодр, подтянут, готов читать нам даже без перерыва. На первой же лекции шуточно попросил наших «профсоюзных деятелей» следить за временем: «Напоминайте: “Профессор, Ваше время истекло, пора в буфет”».

В ноябре 1982 г. умер Л. И. Брежнев. Мы узнали об этом в перерыве между лекциями и стихийно двинулись из нашей курсовой 329-й аудитории на митинг. Почему-то решили, что он будет. В коридоре встретились с Левиным, который спешил к нам на лекцию. Он вернул нас назад, сказав: «Патриотизм ваш понятен, чувства тоже, но давайте будем делать свое дело как всегда».

Генрих Рувимович Левин читал лекции с неподражаемым местечковым акцентом, который не смогли вытравить ни долгое преподавание, ни проживание в Ленинграде. О своей юности он как-то рассказал, что на истфак попал по разнарядке, а хотел, как многие в 30-е гг., получить инженерную специальность. Время было тяжелое, студенты обедали в столовой, а на вилках и ложках было выцарапано: «Украдено из столовой такой-то» (чтоб не воровали).

---

\* Выпускница 1985 г. исторического факультета ЛГПИ им. А. И. Герцена.

Наш профессор рассказывал, как слушал лекции Е. В. Тарле, которого намеревались арестовать, но не определились до конца, надо ли. И вот лекция, переполненный актовЫй зал, входит академик Тарле с битком набитым портфелем, а рядом с ним у кафедры два сержанта НКВД. И он читает лекцию, никуда не заглядывая. Читает блестяще, достаивается овации студентов — и уходит в неизвестность, а сержанты рядом, и никто не знает, будет ли завтрашняя лекция или Евгений Викторович Тарле пополнит списки «врагов народа». А потом Сталин прочитал его «Наполеона» и велел Е. В. Тарле не трогать. Вот такая история...

Е. В. Тарле и А. З. Манфред были любимыми авторами Левина. Их он настоятельно советовал читать «вместо романа». Еще запомнился его горький юмор. Генрих Рувимович сетовал, что правоведаы «отобрали» у историков лекционные часы, и призывал нас хорошо сдавать экзамены по истории: «Отомстите этим разбойникам». Он часто повторял, что в нашей стране история в загоне. Мы по молодости не всегда разделяли и не в полной мере понимали эту боль нашего профессора.

Он наизусть знал все положенные «к случаю» цитаты из классиков марксизма-ленинизма, но, как мне представляется, эта «священная ограда» была нужна ему для безболезненных занятий «своими» левеллерами и преподаванием. К осторожности понуждал его и «пятый пункт».

Генрих Рувимович как историк добрых старых времен был хорошим рассказчиком, любил в лекциях приводить детали (и любил слушать их от студентов на экзамене), любил и умел передать колорит и аромат эпохи. Я, например, навсегда запомнила его рассказ о жене одного лорда, который не явился на суд над королем Карлом I. Ну, явился или нет, но есть процедура — специальные люди оглашали список палаты лордов. И вот, когда произносили день за днем фамилию нашего персонажа, его жена громогласно заявляла с галереи для публики: «Он не такой дурак, чтобы приходить сюда!»

У Левина была какая-то тяга к американской истории. Он рекомендовал нам роман о Ф. Д. Рузвельте, который вышел тогда в «Роман-газете». Я до сих пор жалею, что не смогла прослушать его авторский спецкурс о ранней американской истории. В свое оправдание могу сказать только то, что мы, студенты, могли по каждой кафедре выбрать лишь один спецкурс, а средневековые и спецкурс Ю. П. Малинина все же были мне «роднее».

Перед экзаменом я написала о Левине небольшое стихотворение. Им и хочу заключить эти заметки:

*Генриху Рувимовичу Левину с любовью*

В историографии нет ему равных,  
 В этом с ним спорить едва бы стали мы.  
 Знает, что говорить о Тарле,  
 Что — о Сталине.  
 Эпохи и страны мотыльками мелькают:  
 Войны... революции... снова войны...  
 Левин, как с баррикады, грохочет с кафедры,  
 Правоведами недовольный.  
 Упорно в левеллерах и диггерах копаются,  
 Ищет им настоящую цену.  
 Одним его словом короли свергаются,  
 Якобинцы выходят на истории сцену.  
 Случалось и им попадать в застенки,  
 Народа боялись, хоть и прогрессивные.  
 А в общем, что б ни писал Ревуненков,  
 Это — сила!  
 Но не о них мы сегодня жалеем,  
 Памятуют их ограниченность.  
 Экзамен сдан. Мы лишились Левина.  
 Жаль.  
 Это — личность!

1982

**Слово о шефе: Владислав Николаевич Андреев**

Я отдаю себе отчет в том, что сии заметки, наброски и т. д. — нечто весьма неопределенно-дерзкое. Ибо я ведь почти ничего не знаю о Владиславе Николаевиче Андрееве, о котором пишу. Я не знаю его как человека, да, пожалуй, и как шефа тоже. Я не могу похвастаться тем, что была его любимой ученицей. Увы! И легко мне с ним не было никогда. Я долго не могла понять, как мне

с ним вообще общаться. Первое время, собираясь к нему на консультацию, чуть ли не конспект составляла, как и о чем говорить. Поэтому выходило сухо, ненатурально и бестолково. Думаю, у шефа было обо мне не совсем верное представление. Общий язык начали находить к концу IV курса и второго года моей работы о Юлиане — и первого года обучения греческому. Нас начинало занимать трое, и Владислав Николаевич, по своему обыкновению, возлагал надежды на мальчиков. Но месяца через два «откололся» А. В. Кир, ударившись сгоряча в новейшую историю, а к февралю резко ухудшилось зрение у А<...>, и я осталась с Андреевым «один на один», неожиданно превратившись из дополнения в основной состав. Полгода Владислав Николаич терпеливо сносил мои издевательства над великим языком Перикла и Демосфена. Но в эти же полгода наметился и перелом: он стал более «открыт», порой даже позволял себе (вольно или неволью, не знаю) «вылезать» за рамки своего «имиджа», заботливо созданного многими поколениями студентов не без его помощи, стал более внимателен. Возможно, его заинтересовала моя стойкость, и он поверил, что это всерьез? Так или иначе, стало как-то легче. Процесс этот — нахождения общего языка — преврала его смерть.

<...> Ни о ком не ходило на факультете столько преданий и легенд. Послушаешь, пожмешь плечами: оригинал, чудак (чудак в лучшем смысле слова, может быть, даже не чудак, а чудесник), человек-загадка — и, кажется, сам он тоже старательно заботился о создании своего загадочного «имиджа». Может быть, это было средством самозащиты?

Он не любил фотографироваться, так что даже для «срочного» траурного объявления фотографию искали очень долго.

Одевался почти всегда в черную куртку, любил клетчатые рубашки, никогда не носил галстука. Его брюки, по мнению все замечающих (точнее, не все, а то, что лежит на поверхности) и «знающих» людей, были коротковаты.

Помню, как покоряла нас на первом курсе его буйная, спутанно-серая грива. «Прелесть лохматая!» — восхищался кто-то. В последние годы он стригся все короче и короче, до «нормального», грива же поседела и поредела.

Был он худощав, среднего роста или чуть ниже, на лице выделялось несколько бородавок — на носу и около глаз. Постоянно носил очки. Лоб — большой, открытый, плохо пробритый подбородок, усы — от постоянного курения грязновато-желтые. Глаза — большие, черные. Сейчас, когда я рассматриваю его фотографию, кажется, что в них — потаенный веселый огонек. Лицо серьезное, но вот сейчас, в момент съемки, пришла какая-то веселая, может быть, озорная мысль в голову; глаза успели перестроиться, лицо — нет — в этот момент и «щелкнули» на веки вечные. И, наверное, удачно. Улыбался он часто, и часто приправлял свою речь иронией. Голос у шефа был мягкий, тихий и, наверное, поэтому он передвигался по аудитории, стараясь «равномерно» донести звук до сидящих. Нарастающий шум он сначала игнорировал, затем просил, виновато улыбаясь и делая характерный жест рукой, чему обязан прозвищем Кузнечика:

— Слушайте, перестаньте болтать. Буду удалять с лекции.

Но такого — по крайней мере, на нашей памяти, — никогда не случилось.

Походка у него была быстрая, мягкая, бесшумная.

Говорят, раньше, когда Владислав Николаич был молод и читал Древний Восток, его называли Хаммурапи. За что? По-моему, сходства с восточным деспотом в нем не было. Вот с греком классической эпохи — было, пожалуй, что-то общее. Что именно — затрудняюсь сказать, но что-то было. Казалось, только что прибыл — в отпуск — из своих любимых Афин.

Шеф любил говорить:

— Интересно наблюдать за вами, студентами. На первом курсе все здороваются. Затем, как сдадут Восток, — уже не все. После Греции и Рима здороваются единицы. Идут некоторые мимо... а их-то помнишь...

Он сам всегда отвечал на приветствие, наклоняя голову. Кружковцев и особо любимых учеников (порой эти понятия не совпадали) он звал на «вы» и по имени.

На заседаниях СНО он сидел, подперев ладонью подбородок, в глубине аудитории, среди «народа» и улыбался: интересно. И ему было действительно интересно. По докладам он всегда высказывался, у всех находил хорошее, но и не захваливал.

Был он корректен (по выражению А. А. Чирикова, «интеллигентен до конца»), но иногда совершенно неожиданно раздвигал рамки собственного имиджа.

— Ни черта! — сказал как-то о каком-то падеже.

— Старая лиса Ковалев, — ухмыльнулся по другому поводу.

— Смотрите-ка! — удивляется шеф, разглядывая принесенную мной монографию «Распад державы Александра Македонского», — вышла уже! Ну, то, что автор [он называет фамилию] дурак, это всем известно...

А. И. Рупасов рассказывал мне (сомневаюсь, чтоб это было правдой, но и у шефа могли сдаться нервы), что как-то перед «плановым» выходом в общежитие В. Н. Андреев затеял скандал в деканате и будто бы сказал при этом:

— Я вам не Шевчук, который десять лет защититься не может!

Если он говорил так — это не делает ему чести в любом случае. Но хорош и деканат: большого человека, после инсульта, человека, готовящегося к защите докторской, — посылать в общежитие, куда, действительно, мог бы съездить и Шевчук. Шеф был хоть и скромный, но знал себе цену. Затирали — задвигали — прорвалось, наконец (повторяю — если это вообще не досужие сплетни, каковых немало витает над именем Владислава Николаевича).

Сам он никогда не рвался во «всякое начальство» и относился к нему в высшей степени иронически.

— Хочу курить, — заметил он как-то, — да боюсь, не углядело бы начальство всякое...

Курил он вообще очень много, даже после инсульта (1982).

Единственный из преподавателей на субботниках в Разливе он работал — в неизменной кепке, пальто, тренировочных брюках и с неизменными граблями. Вид у него был потешный — но он, повторяю, человек не первой молодости и не самого крепкого здоровья — работал, а не торчал пнем с начальническим видом, как какая-нибудь молодая девица с кафедры методики. Кстати говоря, он мог бы, наверное, и совсем не ездить в Разлив, как тот же Ю. В. Егоров.

Помню «кровную обиду» 84 года: первый курс зазывал его к себе. Вот и в нашей третьей группе экстренно вспомнили, как его зовут (в обиходе-то — Андреев да Кузнечик):

— Владислав Николаевич, идите с нами работать?

— А вы — какая группа?

— Третья, — гордо сказали мы.

Он минуту подумал, хитро прищурился:

— Нет, пойду в четвертую.

А те и не призывали. Ну, какая обида!

Сколько ему точно лет, никто не знал. От 45 до 63. По сведениям деканата, он умер на 57 году жизни.

Было у него и еще одно средство самозащиты — когда человек ему надоедал, он быстро «выключался» из общения.

И проницателен тоже был. Вспоминаю одну из наших первых бесед. Речь зашла о кружке. Он упомянул некоторых интересующихся студентов.

— А Марина Кораблева? — напомнила я.

Он улыбнулся:

— Знаете, мне кажется, что Марина больше интересуется мной, чем историей Древнего мира.

И оказался прав, как и во многом другом. Впрочем, в «Древний мир» у нас в ЛГПИ часто шли «от него», но МК не «пришла».

<...> — Слушайте, вы — какая группа?

Так начинались все семинарские занятия, ибо он вел все группы. Мы хором напоминали:

— Третья!

И он начинал рыться в каких-то своих бумажках, им же несть числа.

На первом же занятии он пустил бумагу по рядам:

— Напишите, как бы вы хотели, чтоб я вас называл (это после сурово-непреклонного лаптевского: «Товарищ такой-то [такая-то]»).

Все стеснялись.

— Львова Наталья, — вызывал он, и кратко поправлял, — Наташа, да?

Много рассказывал сам, то, что не успевал в лекциях (программу и так сократили на 20 часов, а он не любил Рим. На него, бедный, оставался месяц — хорошо, если мы доходили в лекциях до Августа. На семинарах же — до Юлиана. Такая была хитрая система). Рассказывая, любил сидеть на столе и болтать ногами. Каюсь, не все записывала — мы с Ильиным много болтали, и на экзамене, после некоторых раздумий, ставя мне «отлично», В. Н. Андреев нерешительно произнес:

— Вот если бы вы на семинарах...

— Владислав Николаич, у меня условный рефлекс не отвечать на семинарах, — несу чушь от счастья (шла на экзамен, зная примерно половину вопросов).

В. Н. Андреев улыбнулся и досказал:

— Вот если б вы с Андреем поменьше болтали на семинарах...

Счастье чуть потускнело, и я, покрываясь краской, поторопилась покинуть аудиторию. Это походило на бегство.

...Как-то я спрашивала В. Н. Андреева уже на третьем курсе (в 1983 г.):

— Кто вам больше запомнился с нашего курса?

Конечно, я не надеялась (вернее, почти не надеялась) услышать свою фамилию — ну, Ильин, ну, Макарова, ну, Зимина... А запомнился шефу Володька Дударев, наш милый непутевый Володька:

— Он думает, пропускает историю сквозь себя, — примерно так сказал о нем Владислав Николаич. Он вообще с вниманием относился к нашим собственным мыслям.

Его искренне интересовало все, из наших уст исходящее, какой бы бред мы не несли — он ухитрялся вылавливать и оттуда рациональное зерно. И главное — свои мысли, свое отношение.

Помню, дошли до Катилины.

— Поднимите руки те, кто одобряет Катилину. Так. Опустите. А кто его осуждает?

Он увлекся, долго говорил об историографии и, наконец, вспомнил:

— Об этом еще и я в СНО спорил с Ковалевым...

Не от Катилины ли у выпускника ЛГУ В. Н. Андреева интерес вообще к античности? <...>

<...> Каким он был?

Ей-богу, не знаю.

Неповторимым — это уж точно. Он печатался не только в СССР, но и в ГДР (и Верлинский говорил мне, что готовится издание в ЧССР), а жил в коммунальной квартире.

Это был настоящий интеллигент, таких в наш практичный век немного осталось. Первым ученикам он бесплатно раздал учебники по древнегреческому языку. Занимался тоже бесплатно.

И что ж? Задвигали-завдвигали, а труды сами за себя сказали. Есть такая книжка «Историография античной истории» (М., 1980). Там его (доцента!) поминают наряду с профессорами и членкоррами. Для сравнения скажем, что, например, в «Историографии истории СССР» видим далеко не всех профессоров, не говоря уж о доцентах...

Тяжело было весь оставшийся август. Тяжело было и весь сентябрь. Ощущение: вот сейчас он выйдет из-за угла, поднимется из курилки... А потом понимаешь: нет его. Нет и не будет. Ни сегодня, ни завтра — никогда. Даже могилы нет — прах развеян по завещанию. Непривычно, пусто — будто факультет потерял доброго духа (а, может, душу свою?).

Мы уйдем, другие этого не почувствуют. Досталось нашему курсу: Кожухов, Андреев. Лучшие, любимые... Две такие потери за 5 лет — многовато, а?

Но и повезло. Ведь мы могли уже не застать, не успеть... Не только у сталеваров «горячий цех». Лучшие ученые-историки тоже нередко сгорают на работе, только памятников и некрологов им не достается за это. Лишь наша благодарная память хранит их образы и обращается к ним в ту или иную минуту своей жизни, тяжелую или радостную... <...>

### ***Преподавание истории как искусство: Юрий Васильевич Егоров***

Начало 80-х гг. XX в... Доктор исторических наук, профессор Ю. В. Егоров как будто снизошел к нам в серые советские будни из таинственной, манящей и недоступной тогда Европы: джинсы, замшевая куртка, стильные очки, седой ежик волос... Похож на постаревшего Пальмиро Тольятти... Разве это — профессор идеологического, как тогда официально говорилось, факультета?! Это просто итальянский кинорежиссер!

Его лекции были праздником. Начинал он их часто с опозданием, но никто не расходился, ждали. Приходу Егорова в нашу курсовую 329-ю аудиторию предшествовали «вестники», как мы их называли, — его аспиранты из Высшей партийной школы. Затем появлялся и сам Юрий Васильевич — без всяких бумаг и пособий, и с ходу начинал говорить, без малейших усилий держа наш курс во власти своих размышлений о новейшей истории Запада, спрессованных в лекцию. Следить за полетом его мысли, который зарождался, казалось, прямо на наших глазах, было захватывающе интересно. Какая-то тут была и магия, и «химия» — словом, и талант, и мастерство, и высокое искусство.

Вот сейчас модно говорить о технологиях, как о некоей педагогической панацее, дескать, ратифицируй некую сумму алгоритмов с инновациями, уснасти это компьютерными программами — и любой учитель, любой преподаватель будет мастером своего дела... Опасное заблуждение! Чем нас брал Егоров? Никакой не технологией — это уж точно.

Он был лектор, что называется, милостью Божьей. При том в его речи случались и милые неправильности, были и такие обращения к студентам как «лапоньки», «ребятоньки», «это и ежу понятно». Юрию Васильевичу такие словечки и словосочетания только добавляли сочного, какого-то хэмингуэевского шарма. Новейшая история Запада в его лекциях оживала. Таинственным, непостижимым образом. Егоров говорил, порой глядя куда-то в угол, а то и в окно, — и в аудитории как будто вспыхивали зарницы революционных 20-х гг. Он старался показать нам мир первой полови-

ны XX в. во всей его сложности и полноте, насколько это было возможно в начале 80-х гг. Он вводил нас в гущу событий, и казалось, это мы поднимали знамя Народного фронта во Франции, или отступали вместе с бойцами революционной Испании...

Егоров рассказывал нам и о сталинизме, и о трагедиях, им вызванных в международном рабочем движении — для нас тогда это было ново и смело. По каждой теме Егоров рекомендовал нам литературу (со своими комментариями), в том числе и художественную. Многие из нас сразу после лекции бросались в «фундаменталку» и заказывали эти книги и статьи. «Вслед» Егорову и я даю старшеклассникам списки литературы и тоже не обхожу вниманием художественную. Иногда писатель прозорливее и глубже историка, он освещает исторические процессы ярче, красочнее.

Егоров любил и лирические отступления. Цитировал стихи — один раз, не помню уж к чему, прочел нам наизусть отрывок из сатирической баллады А. К. Толстого «Поток-богатырь», признавшись, что восхищался этим произведением с детства. Он же открыл для нас такого дивного писателя и большого знатока истории, как Ю. В. Давыдов. Говорил он нам и о художественных фильмах, порой давая им емкую оценку. Например, фильм Ю. Озерова «Солдаты свободы» он назвал высокохудожественным.

Из чего же складывался талант Егорова-лектора? Составляющие ускользают, но за вычетом магии — это, конечно, ораторский дар, огромная эрудиция, прекрасная память и великое трудолюбие. Секретами профессии Юрий Васильевич не делился, но как-то вскользь давал ценные советы. Каюсь, большую их часть я пропустила мимо ушей, но кое-что все-таки запомнила:

«Импровизации, особенно на первых порах, надо тщательно готовить».

«Не надо слишком много имен, фамилий, дат. Чем старше становлюсь, тем тщательнее отбираю материал» (здесь с Егоровым согласились бы методисты, ведь методика — это, по сути, отбор содержания).

«Наше поколение много читало. В 1968 г. я уже знал чешский язык, и каждый день с утра шел к газетному киоску у гостиницы “Европейская”, становился в очередь и покупал “Руде Право”. И у меня сохранился дома архив. Вообще историк должен много и постоянно читать, в том числе и газеты».

Еще он знал основные европейские языки, а также польский, сербский, и поэтому, кроме истории Франции, занимался и Восточной Европой. Интерес, но не исследовательский, а, так сказать, общегуманитарный, он испытывал и к древним периодам истории.

Мне удалось с немногими счастливицами попасть на спецсеминар именно к нему. Хотелось написать работу о советско-шведских отношениях, но Юрий Васильевич меня отговорил. Литературы на русском языке было мало, а шведским я не владею.

Вообще, мне кажется, Швеция, как предмет изучения даже студенческого, не поощрялась. В самом деле, эта небольшая страна была какая-то «неправильная»: не подходила ни под какие формулы и заклания наших жрецов от идеологии... Но вернемся к Егорову.

На спецсеминаре он всегда внимательно слушал и комментировал наши доклады, стараясь «спровоцировать» дискуссию. Пример его комментария: «Да, все не просто было... Морис Торез, бывало, рыдал в ЦК ВКП(б): “Товарищи, что же вы такие недобрые?” А недоброе было само время... На Западе все-таки не смогли понять, что же у нас происходило. После XX съезда многие ужаснулись, отшатнулись... Им хотелось верить в доброго, хорошего Сталина, в лучшую на свете страну — Советский Союз». Он вздыхал, и по его лицу ползла печальная улыбка. И мы хотели верить, что недоброе время — было и прошло, и что Советский Союз — лучшая на свете страна. Увы, жизнь рассеяла наши иллюзии так же безжалостно, как в 50-е гг. XX в. — заблуждения левых интеллектуалов наивного Запада.

Тема, которая всегда волновала Егорова, — власть и нравственность. Недавно академик С. П. Капица, выступая по телевидению, сказал: «Власть и нравственность несовместимы». Егоров, наверное, это понимал и переживал острее как историк-исследователь, но это знание его не радовало.

Сейчас говорят, что историк не должен выносить оценочных суждений. Егоров — выносил. Он ни в коей мере не был пушкинским Пименом, который «добру и злу внимает равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева». Новейшая история, по Егорову, была в высшей степени живой и человеческой, в ней аккумулировались надежды, разочарования, радости и несчастья, победы и поражения, которыми был так богат прошлый век.

На экзаменах у него троек не было. Еще одна привлекательная черта профессора Егорова — он не обижался на студентов и многое им прощал, понимая реалии студенческой жизни. Например, он делал вид, что не замечает шпаргалок. А как-то на лекции пригорюнился: «Да я как подумаю, лапоньки, что в школе вас ждет, что предстоит, после этого и сердиться толком на вас не могу». И картинно подпер подбородок рукой.

Мы искренне любили Юрия Васильевича и старались его не огорчать. А у него, конечно, были свои предпочтения, были люди, на которых он возлагал надежды. Он очень огорчился, узнав, что «звезда» нашего курса Андрей Ильин уже пишет диплом у В. И. Старцева. Мой интерес к Древнему миру он не поощрял: мол, всю эту античность уже немцы изучили, и что там делать?

Одного нашего студента Егоров активно недолюбливал. Это был парень старательный, но без искры Божьей. И вот на экзамене профессор спросил у него, чем он больше интересуется, историей СССР или всеобщей? Студент ответил, что в равной степени. Егоров уже выведя «отлично», бормотнул как бы для себя: «Ну что ж, для школы это может быть и хорошо».

Этот случай (дело происходило у меня на глазах) удивителен. Мало того. Что Юрий Васильевич прекрасно знал историю нашей родины, он еще и начинал исследовательскую деятельность как историк России... Но что было, то было.

Казалось, Егорову жить легко и просто, такой он обычно излучал победный оптимизм. Его востребованность, его высокий профессионализм и выезды зарубеж и независимость в поведении, и даже то, что он состоял лектором горкома КПСС, — вроде бы все подтверждало эту истину. Но позже выяснилось, что внешнее благополучие — мнимое. Как я уже отмечала, начинал он с изучения истории России, но написал такую смелую по тем временам работу о народниках, что чуть не вылетел из комсомола (подробнее об этом пишет Р. Ш. Ганелин в воспоминаниях: *Ганелин Р. Ш. Советские историки: о чем они говорили между собой в 40-е — 70-е годы*. М.: Нестор-история, 2006). Снимали его и с заведования кафедрой за неугодлиность и непочтительность к начальству. В наше время он был «просто» профессор. А всего он проработал на кафедре всеобщей истории нашего вуза 40 лет (с 1959 г. по 1999 г.).

Путь историка вообще тернист, а уж в России в XX веке... Но Юрий Васильевич Егоров, безвременно ушедший от нас летом 1999 г. (сердце, был на даче, не успела наша неторопливая «Скорая»), сумел пройти этот путь с честью и максимально свободно, насколько это позволяли советские годы — конечно, для тех, кто не уходил в подполье, продолжал работать в рамках системы, веря, что ее можно реформировать изнутри.

Несмотря на возраст, в душе он оставался романтиком. Свои взгляды старался отстаивать до конца, и, думается, современные учебники истории и словосочетание «государственный взгляд на историческое образование» вряд ли бы одобрил. Он был не страж государства, а вольный художник на историческом поле. И в этом, наверное, уникальность Егорова.

Он доказал, что преподавание истории может быть высоким искусством, но стиль Егорова уникален, тиражированию и клонированию не подлежит.

Мы можем только помянуть Юрия Васильевича Егорова добрым словом и поблагодарить судьбу за счастье учиться у него — замечательного человека и преподавателя.

Давайте помнить о наших учителях. Помнить благодарно и трепетно — и не только в дни юбилеев.